

РАССКАЗЫ

ДВЕРНОЙ ГЛАЗОК

I

Я проснулся в половине третьего ночи и от скуки рассматривал вензеля на обоях. Стену слабо освещал уличный фонарь, мерно тикали часы с кукушкой, гудел увлажнитель воздуха. За окном с грохотом пролетел грузовик, и его тень, размытая, как пятно Роршаха, черной тучей накрыла обойные узоры. Машина секунд десять дребезжала по улице, а потом снова стало тихо, до новой порции криков.

— Бедняги, — жена тоже проснулась, когда вновь закричали. — Может, тебе беруши сделать? Из ваты. Мне-то нормально, орут и орут.

— Не надо беруши. Пошумят и успокоятся, — я взбил подушку и накрылся одеялом до подбородка.

— Поубивают друг друга и успокоятся, — с сожалением вздохнула супруга и, чмокнув меня в щеку, повернулась на другой бок.

Я не спал, ворочался и гонял в голове пустые, глупые мысли, словно бильярдные шары. Они отскакивали от бортиков сознания и не залетали в лузы, не додумывались, как бы обрывались на середине и прятались. Это раздражало. Я изо всех сил пытался провалиться в сон, но каждый раз, когда это почти получалось, откуда-то из недр нашего железобетонного муравейника вырывалась порция отчаянной ругани — злой и визгливой, будто ошпаренной кипятком. Дрянные стены панельного дома не выдерживали соседского отчаяния и пропускали его через мелкие поры, как радиацию.

Ссора началась около восьми вечера и сперва огрызалась отдельными выкриками, которые я назвал «всполохами». К одиннадцати она уже пылала вовсю и лишь ненадолго смолкала, потом перегруппировывалась и начинала стрекотать с новой силой.

Ближе к утру у соседей все-таки наступило затишье, и я задремал. Мне приснилось огромное картофельное поле, до горизонта заросшее чертополохом. Огород следовало прополоть от края до края, а я потерял хозяйственные перчатки, поэтому хватал сорняки голыми руками, вгоняя в ладони тонкие, бледные жала. «Они ядовитые!» — мелькнуло на периферии ума, и я снова проснулся. Голову сверлил такой же шипастый, колючий крик, чуть приглушенный бетонными стенами.

Чтобы не связываться с мыслями-оборванцами, я решил разобрать крик на части и прислушался. Но составных частей не было: усердствовала одна-единственная женщина. У нее был немного хриплый и истерический голос, но вместе с тем — сильный и зычный, казалось, он принадлежит великанше или оперной певице. Ни баса, ни баритона, ни даже раздраженного тенора за этим волевым, оглушительным меццо-сопрано услышать не удалось. В причинах конфликта я не разобрался: слышал только оскол-

ки ругательств, какие-то проклятия и причитания, иногда вырывались надрывные вопли, иногда — ровный крик: «А-а-а-а-грх-а!»

«Чтоб тебя», — сказал я и заходил по комнате. В углу, у стеллажа с книгами лежали маленькие килограммовые гантели — жена занималась с ними гимнастикой. Я решил постучать ими по батарее, все равно ведь весь подъезд, наверное, не спит. Несколькими раз мне таким образом удавалось прекратить соседскую пьянку.

Деликатно постучал по батарее. Почему-то три раза. Жена встрепенулась.

— Что ты делаешь? — она приподнялась на локтях и включила светильник. Я, с красными, ошалевшими глазами, стоял в трусах и держал розовую гантель в руке.

— Надо ж их какой-то утихомирить.

— Пять утра уже, — жена зевнула и посмотрела на часы. — Ложись, вроде потише сейчас. Гантеля сработала.

Шум действительно прекратился. Я лег и через пару часов проснулся — разбитый и помятый, как после туманных застолий.

— Они что, всю ночь кричали? — спросила жена.

— Всю ночь, — ответил я, а потом добавил: — Кричала. Слышно было только женский голос, дородный такой, с переливами.

— Сколько это уже у них?

— Дней семь или пять, — я хлебнул из кружки и пошел одеваться на работу.

Скандалные соседи появились из ниоткуда. Никто не видел, как они въехали, хотя обычно при переезде «добро», нажитое годами, торжественно сваливается в бесформенную кучу у подъезда и таким образом сигнализирует о появлении новых жильцов. Кочующая куча редко вызывает симпатию и выглядит немного бесстыже. Выжженные треугольники на гладильных досках, темные разводы матрасов, заляпанные жиром холодильники с магнитами из Турции и Египта. Картина с нагромождением случайных предметов как бы задирает юбку семейству, показывает быт без ретуши.

Мебельно-вещевую грудку хочется превратить в сугроб — накрыть саваном или клеенкой, спрятать от чужих глаз. Но люди, как правило, просто смиряются со смущением и разве что немного краснеют. А скарб меж тем громоздится и сально, самодовольно блестит от прожитых дней. И в этом блеске есть что-то концентрированно страшное и печальное.

Мне кажется, что на лакированных полочках, трюмо и тумбочках из ДСП отпечатывается жизнь, как в дактилоскопическом узоре. Улыбки, детские ладошки и простые житейские радости бледнеют едва заметными кляксами. Зато семейные драмы проецируются жирно — все эти слезы, обиды, недоговоренные слова или резкие, злые фразы о деньгах или разводе. Я много раз видел такие кляксы и такие мещанские груды-сугробы, однако у наших новых соседей ничего подобного не было.

Никто не видел, как они приехали, как разгружали бортовую «газель», как толпились у лифта с коробками, торшерами и рогалями ковров. Сначала мне казалось, будто они сделали это очень быстро, по-партизански, в рабочий полдень или ночью, но я внимательно посмотрел видеоархив с камеры домофона и никого не увидел. Ни бытовой кучи, ни «газели», ни намек на переезд. Туда-сюда шмыгали курьеры в разноцветных плащах, в подъезд забежали дети, одни и те же люди уходили на работу и возвращались домой. Дом жил по сценарию, но каждую ночь кто-то кричал.

II

Весь день я провел, как сомнамбула: ходил, клевал носом, ничего толком не сделал и несколько раз больно ударился об дверной косяк. Поздно вечером вернулся домой, наспех проглотил кружку «Принцессы Явы» и отправился спать.

Проснулся около часа ночи — снова кричали, и снова безумствовал тот тяжелый, оперный голос. Крик лился ледяным, непроницаемым водопадом. В какой-то момент мне показалось, что его на бреющем полете перехватывает визг потоньше: детский или, скорее даже младенческий, но потом я понял, что надрывается не ребенок, а единственный сварливый голос, просто на более высоких нотах.

Я резко вскочил с кровати и, не включая свет, нащупал тренировочные штаны. «Надоело! Надоело! Надоело!» — пульсировало в голове какими-то синими вспышками. Быстро оделся, ноги сунул в тапочки жены. Мои широкие ступни не помещались в узких тапках, и пятки неприятно елозили по полу. В таком виде я и выскочил в подъезд, успев подумать, что выгляжу наверняка очень глупо.

Оказавшись на лестничной клетке, прислушался. Очень странно, но громкость крика не увеличилась, но и не уменьшилась — он стрелял ровными очередями с перерывами на перезарядку.

С площадки второго этажа, где мы жили, я крадучись спустился вниз. Там чернели две двери вместо трех: одна была замурована, а проем выровнен с зелено-белой стеной. За ней находился офис местного ЖЭКа, вход туда шел с улицы, поэтому дверь из подъезда заложили кирпичами и аккуратно закрасили. Однако почему-то оставили звонок. Много раз я проходил мимо, и мне очень хотелось позвонить в этот звонок, но я не решался.

В голове гудело, крик, ругательства и причитания лились, как из ведра. Но откуда? Я приложил ухо к замурованной двери — мало ли, может быть, в ЖЭКе кто-то ночует и каждую ночь «устраивает концерты».

Точно! Поэтому домофон и не показал никаких незнакомцев. В ЖЭК зашли с улицы! Мне почудилось, будто источник крика найден, все решено, наступит утро, и мы обязательно со всем разберемся, в дом наконец вернутся тихие, спокойные ночи. Но это была ошибка.

После перезарядки закричали, как мне послышалось, откуда-то сверху. Я в несколько прыжков преодолел пролет второго и третьего этажей, оказался на четвертом — там жили пенсионеры Мартынюки, семейство узбеков Вахидовых и мать-одиночка с сыном-подростком. Они приехали недавно, и мальчик выглядел забитым и всегда грустным.

«Ты сошел с ума, — пробормотал я, когда начал поочередно прикладывать то одно, то другое ухо к холодным дверям соседей. — Ты выглядишь как сумасшедший: в тапках жены, старых трениках, слушаешь соседские двери». Я не только выглядел как сумасшедший, но и вел себя соответственно: указательным пальцем затыкал одно ухо, другим елозил по двери, сгибая и разгибая шею, словно слушал биение чужого сердца или шумы в чьих-то легких.

Вдруг затылок что-то кольнуло, внутри неприятно похолодело: мне почудилось, будто чей-то взгляд буравит меня через один из дверных глазков. Только чей? Старого Мартынюка? Узбека Вахидова? Его жены в пестром платье? Печального парнишки, измученного и бледного? Я как раз слушал именно их дверь. Внизу, на уровне ног, на темном металле виднелись грязные отметины подошв, наверное, мальчик или его мама периодически стучали в дверь ногами.

Мне стало жутко, но не за себя, а за ребенка, который притаился и, вероятно, с ужасом наблюдал за мной через круглый окуляр дверного глазка. Дверь в квартиру отделяет пространство теплого и уютного мира, где все до боли знакомо и безопасно от хаоса, не поддающегося контролю. По одну сторону — ты, твои любимые книги, твои сны и взбитые подушки, твой понятный, изученный вдоль и поперек космос, по другую сторону — холодная тишина подъезда, общественное место, где действуют свои законы, где может быть всякое и где ты почти ничего не решаешь и не знаешь, кто

завтра будет подниматься по лестнице, стоять на площадке, курить, помалкивать. Глазок в данном случае — своеобразное окно, выходящее в чистилище, это еще не полноценный ад, не внешний мир с его лихими людьми и выюгами, но его пролог, лимб, пропахший табаком и запахами из квартир.

Когда в детстве я просыпался глубокой ночью и шел на кухню попить воды, мой путь пролегал мимо входной двери. «Не смотри в глазок, не смотри в глазок, не смотри в глазок», — шептал я себе, на цыпочках пробираясь по коридору. Я был уверен, что если все-таки взгляну в него — то непременно увижу одинокую фигуру человека. Тот будет молчать, не двигаться и тихо смотреть на нашу дверь, обтянутую дерматином с разноцветными заклепками. Маленькое дверное окошко позволяет видеть лестничную клетку как бы слегка в отдалении, выпукло. Но даже первоклассником я понимал, что дверной глазок обманет, и фигура незнакомца в реальности будет гораздо ближе, чем я увижу, и что если прислушаться, то можно услышать его злое дыхание или зубовой скрип.

Между тем крик рваным ветром налетал со всех сторон: снизу, сверху, справа и слева. Я испугался, что вот-вот тронусь умом, отпрянул от двери и начал медленно возвращаться обратно, шаркая голыми пятками по ступенькам. Между третьим и вторым этажами на всякий случай приложил ухо к кладовке, уткнувшись в угол. Это была небольшая каморка, которая пряталась за черной железной дверью. Там проходила труба мусоропровода, но им не пользовались. Десять лет назад это пространство решили захватить наши соседи по площадке — бойкие и наглые Ряхины — они подделали протокол общего собрания жильцов, уладили вопрос в том самом ЖЭКе на первом этаже и справили кладовку вокруг тоннеля. Старшая Ряхина, гремя ключами, доставала оттуда картошку и пыльные банки соленых огурцов в мутном рассоле. Из ряхинских закровов тоже не доносилось ни звука, крик яркими всполохами гулял по подъезду.

Я спустился к себе. Когда за мной захлопнулась дверь, крик прекратился так же внезапно, как и появился. Я постоял какое-то время в темном коридоре, а потом, дрожа всем телом, задержал дыхание и посмотрел в дверной глазок. В подъезде никого не было.

— Неужели ты ничего не слышала? — спросил я у жены, когда наступило утро. Она в отличие от меня выглядела свежо и бодро.

— Опять кричали? — как бы между прочим уточнила жена. — Ты знаешь, что-то смутно помню, но как в тумане. Кстати, ты не брал мои тапки?

Прошел день, наступила новая ночь. Я даже не думал ложиться, а прошел на кухню, прямо в кружке заварил дешевый кофе «Жокей» и стал ждать. Как я и предполагал, после полуночи крик вернулся, поначалу он словно лаял, но потом перешел в свой обычный, сводящий с ума ор, ругань, обрывки матерной брани. Я только этого и ждал и позвонил в полицию. Чтобы экипаж приехал, пришлось соврать, будто где-то за стеной не просто кричат, но и истошно зовут на помощь.

— Мне кажется там кого-то режут, — сказал я дежурному.

— Из какой вы квартиры? — уточнил металлический голос лейтенанта.

— Из девяносто пятой, я вас дожусь. — Честно говоря, мне не верилось, что полиция обнаружит источник крика, но очень хотелось услышать их мнение. Раскрыть какую-то паскудную тайну и тем самым переложить проблему с собственных плеч на чужие — государственные, в строгих прямоугольниках погон.

В уме мелькнуло страшное предчувствие. А вдруг они приедут и совсем ничего не услышат, а я в это время буду глохнуть от крика? Что тогда? Психиатрическая лечебница? Инвалидность? С другой стороны, жена-то, Аленка, тоже слышала крики или нет?

Я вспомнил, что в 1997 году одна моя дальняя родственница — тетя Зина — сошла с ума, посмотревшись рекламы. В тот летний вечер они сидели с мужем перед телеви-

зором и пили чай. Тетя Зина дождалась, когда закончится реклама прокладок, медленно встала с кресла и, не говоря ни слова, вышла на балкон. Ее супруг — Степан Николаевич — решил, что она захотела подышать, в квартире было душно, но женщина, как была — в тапочках и легком ситцевом халате, — забралась на ограждение и выбросилась с десятого этажа.

III

Воспоминания о несчастной тетке, так буднично и нелепо прекратившей свою жизнь, прогнала тревожная мысль. Я заметил, что опустил в кружку уже седьмой кубик рафинада, а кофе все равно был горьким. Кучка сахара не растворилась и смешалась с гущей. Семь кубиков... Маниакальное поглощение сладкого — верный признак шизофрении, я где-то читал об этом или от кого-то слышал. А что если и вправду болен?

Все мне казалось тревожным и странным, будущее виделось размытым и серым, словно я смотрел на него через закопченное стеклышко. В этих размышлениях я не сразу обратил внимание, что крик закончился. Он будто бы стал частью меня, как зубная боль, к которой привыкаешь и не сразу замечаешь облегчение.

Спустя минуту в дверь деликатно постучали, хотя могли и позвонить. Два усталых человека в темно-синих форменных куртках стояли на пороге и измученно смотрели мне в лицо. От них пахло смесью снега, табака и приторно-сладкого автомобильного освежителя воздуха. Какие-то клубнично-сливочные нотки, которые не вязались с образом полицейских.

— Что у вас случилось? — спросил, по-видимому, старший в группе, офицер с погонами старлей. Он носил старомодные пепельные усы, но на вид ему было лет двадцать семь, не больше, форма на его фигуре сидела безразмерным мешком и казалась нелепой.

— Знаете, уже которую ночь в доме кричат. Спать невозможно, — я скорчил жалобную гримасу. — Такое ощущение, что там кого-то каждый день мучают!

Я немного стушевался при виде полицейских и говорил чуть-чуть заикаясь.

— В какой квартире? — строго поинтересовался старлей.

— В том-то и дело, что не могу уловить. Прошлой ночью, когда началось, я даже в подъезд вышел проверить и ничего не понял, кричат как бы отовсюду разом. У нас шесть этажей в доме, я дошел до четвертого и на первый спускался, и везде слышал крик.

— А-а-а, отовсюду кричат. Хм, вот как, — с нескрываемым облегчением сказал офицер, а потом, слегка улыбаясь в усы, обратился в коллеге: — Сереж, запиши там в протоколе про «отовсюду». Еще кто-то, кроме вас, слышал крики?

— Ну, жена говорит, что слышала, хотя я и не уверен, что она именно этот крик имела в виду, а с соседями я еще не общался. — мои слова мелким, бисерным почерком заносил в лист протокола сержант Сережа.

— Давайте так. Коллективную жалобу пишите. То есть со всех соседей возьмите подписи под заявлением, мол, в такой-то квартире, выясните, кстати, в какой именно, регулярно нарушают режим тишины. А потом документ своему участковому принесите. Он в соседнем доме, двадцать первом. Будем разбираться. Распишитесь здесь, — полицейский протянул ручку и планшет с протоколом. Я заметил, что с колпачка ручки свисал спиралевидный розовый проводок, такие ручки — на привязи — бывают в МФЦ и ведомствах, где посетители часто расписываются. Украли они ее, что ли? Не глядя поставил автограф и закрыл дверь. Когда полицейские спустились, я нерешительно сквозь страх и тремор посмотрел в глазок. В подъезде никого не было.

На следующий день после работы начал обход соседей. Кого-то не застал дома, кто-то не открыл, Ряхины и Мартынюки весьма грубо сказали, что ничего не слышали,

а вот мальчик — тот грустный подросток, дверь которого я слушал — на вопрос о криках покраснел и отрывисто заявил, что мама на смене.

— А сам-то слышал что-нибудь? — спросил я.

Парень стоял в шортах, носках крупной вязки и детской футболке, из которой он давно вырос, она стягивала его живот, как барабан, отчего полнота и нескладность мальчишки еще сильнее бросались в глаза.

— Да нет, не слышал. Правда, мама часто плачет, но негромко, — внезапно сказал мой сосед.

— А чего она плачет? — поинтересовался я.

Отрок резко обернулся и бросил короткий взгляд куда-то стену, которую покрывали выцветшие, старые обои. В некоторых местах, под самым потолком, они отошли и готовились безвольно сползти вниз. Школьник вдохнул, еще больше покраснел и тихо, но уверенно зашептал:

— Не знаю, может, из-за папки. Когда мы вместе жили, она громко кричала, я еще маленький был, но хорошо помню. А сейчас уже негромко кричит, даже не кричит, а, знаете, как бы воет немного, но вряд ли вы слышите, она тихо это делает, в своей комнате. Наверное, даже думает, что и я не знаю, — ребенок высказался и зачем-то пробормотал «извините».

Мне стало жалко мальчика и его маму.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Виталик, — ответил сосед.

— А меня дядя Саша, — сказал я и протянул руку мальчику. Его ладонь была слабая и холодная. Я подумал, что человеку с такими руками будет очень непросто жить, и вручил ему бумагу и ручку. — Распишись здесь, пожалуйста, и номер своей квартиры подпиши. Мы когда выясним, откуда кричат, там сверху впишем номер квартиры нарушителей тишины.

Школьник с опаской начал медленно выводить свою подпись — закорючку, похожую на букву «Ж».

— Виталик, а приходите как-нибудь к нам в гости со своей мамой. Вечерком. Я в сорок четвертой квартире живу, на втором этаже. Чая попьем, жена моя испечет пирог. Придете?

— Не знаю, я маме обязательно передам, — ответил мальчик и стал уже совершенно багровым. — Спасибо.

— Не за что.

В тот день мне открыл еще один сосед — Михаил Юрьевич с пятого этажа. Это был высокий, внимательный человек лет пятидесяти, с длинными, собранными в косичку волосами. Он носил густую, седеющую бороду и напоминал не то барда, не то священника, не то философа. Собственно, кем-то вроде философа, священника и барда он и являлся и преподавал Закон Божий в воскресной школе, а на жизнь зарабатывал «мужем на час».

По всему району он расклеил рукописные объявления с предложением своих услуг и ходил по квартирам делать мелкосрочный ремонт: чинил капающие краны, вешал люстры, собирал мебель. Михаил Юрьевич был единственным человеком в подъезде, с которым мы хотя бы немного общались и несколько лет назад даже оставили ему ключи от своей квартиры, когда уезжали отдыхать в Геленджик. Попросили кормить кошку и поливать цветы. Сосед с радостью согласился. Жена как-то говорила, что он окончил философский факультет МГУ, а потом хотел стать священником, но вместо этого поехал жить и работать в Сибирь, там из каких-то соображений женился на дочке шамана, а дальше история обрывается. Вернулся к нам он уже один и в семинарию поступать не стал, как, впрочем, и снова жениться.

Михаил Юрьевич обрадовался, когда меня увидел, но не пригласил зайти, а взял за локоть и провел вниз, на площадку между этажами.

— Покурим тут в окошко тихонечко, не против? — виновато спросил сосед и достал из-за трубы мусоропровода смятую баночку «Нескафе», полную рыжих окурков.

— Да нет, конечно, курите, пожалуйста, — сказал я.

— Эх грехи, грехи, — печально произнес мужчина и смачно затянулся.

— Курить — значит бесу кадить, — добавил он уже более уверенно, выпустил дым в форточку, а потом заметил: — Вы даже не догадываетесь, Саша, сколько раз я намеревался бросить, но меня, не поверите, духовник не благословляет! Говорит, ты, Миша, как эту гадкую привычку оставишь, обязательно возгордишься, а гордыня — мать всех грехов. Вот я и курю.

Михаил Юрьевич замолчал и задумчиво дымил, делая большие затяжки. Молчание с ним рядом не напрягало, но я все равно спросил:

— Скажите, а вы, случайно, не слышали криков, ругань какая-то, брань. Уже неделю как?

— Честно говоря, не слышал. Я, понимаете, как прихожу домой, в наушниках засыпаю под лекции о философии, богословии, это у меня со студенчества остался такой условный рефлекс, — сосед засмеялся, — слышу монотонный голос лектора и сразу засыпаю как убитый.

— Кричит кто-то в подъезде, а я и не знаю кто.

— А вы здесь сколько живете? Лет пятнадцать, наверное? — спросил Михаил Юрьевич.

— Даже, пожалуй, семнадцать. — сказал я.

— Вот и я примерно семнадцать лет обитаю здесь, и притом половину наших соседей не знаю, а ведь там, как вы говорите, могут люди и кричать, и страдать, и мучиться, и им, может быть, помощь нужна. Мы живем в страшное время, Саша, — сосед-философ аккуратно затушил сигарету в банке и прикурил новую. — Вселенная человека сузилась до размеров его квартиры, понимаете, бетонного кубика с обоями и вензелями, где он сидит себе и чай гоняет, а в это время за стенкой — другая вселенная со своими квазарами, сверхновыми и черными дырами и тоже чай гоняет, или пиво пьет, или доедает пельмень, или кричит от ужаса и тоски. И никому ни до кого нет дела. Я часто лежу, когда свои лекции слушаю, и перед тем, как заснуть, размышляю: что же, интересно, творится у меня за стенкой? Вроде семья какая-то поселилась, въехали года два назад, живут тихо, словно мыши, но что там в этом тихом омуте водится, я и подумать боюсь. И вот лежу я, лбом к стене прижавшись, а за ней, думаю, другой лоб, и тоже сопит человек, и наши лбы отделяет друг от друга всего лишь кирпичная кладка. Полметра максимум. Это страшно.

Мне всегда казалось, что Михаил Юрьевич — сонный, застенчивый человек, Диоген из бочки, — но в этот раз он говорил напористо и жарко, активно жестикулируя одной рукой, вторую — с сигаретой — сосед держал возле форточки.

— Я же тут по всему району бегаю уже который год. И вот, значит, недавно в тридцать шестом доме — я там ламинат стелил — рассказали мне историю. Соседка моих клиентов — одинокая старушка — умерла и мумифицировалась, оттого и не пахла, — так и сидела за столом со щербатой кружкой три года, а они все это время спокойно жили. Праздновали дни рождения, представляете, и новый год, говорили: «С новым счастьем», или «Возьмите, пожалуйста, кусок фаршированной щуки», или «Передайте голубец, Геннадий Андреевич»... А в это время за тонкой стеной — дом-то панельный, стены ерундовые — сидела бабушка и «чай пила» три года в одной позе. И никто ее не хватился, никто даже не заметил, что она куда-то исчезла. Тело нашли случайно, когда техники из Горгаза приехали устранять неполадки в системе, и им нужно было, кровь из носа, попасть в квартиру старушки. Там ее и нашли.

— И что соседи? Которым вы ламинат стелили, что они сказали?— спросил я.

— Жаловались, искали виноватых, мол, бабулей никто не занимался, а я по глазам и по их интонации понял, что им просто теперь брезгливо жить. Поди ж ты — три года с трупом по соседству обитали. Впрочем, виноватых в итоге нашли — на соцслужбу пеняют, дескать, они бабкой не занимались. Люди вечно всем недовольны и всегда кого-то обвиняют, кроме себя. Вы говорите, кричит кто-то? Так вот, я думаю, что все-ленные соприкасаются, только если кто-то начинает кричать или, уж простите, дурно пахнуть, хотя тогда уже поздно. Это как бы выводит из морока. Кричат — значит, оказывается, есть и другие бетонные кубики, и другие все-ленные там живут. И они, скорее всего, несчастны, потому что сейчас много несчастных и грустных людей, — последние слова Михаил Юрьевич произнес медленно и задумчиво, он курил уже третью сигарету. Я дал ему расписаться в бумаге.

— Михаил Юрьевич, а вы не знаете, вот если человек много сахара в чай кладет, то это может свидетельствовать о развитии шизофрении?— спросил я.

— Как по мне — какой-то бред. Я и сам ложек пять кладу, — засмеялся сосед и пожал мне руку.

В тот вечер на удивление не кричали. Я впервые за последние дни хорошо выспался. Утром пошел на работу, а вернувшись, плотно поужинал и лег спать. Однако по уже заведенной привычке проснулся около трех часов ночи: тикали часы, медленно и глубоко дышала жена, за окном с грохотом проехал грузовик. Крика не было. Неужели все закончилось? Мне захотелось отметить это событие глотком холодной воды. Чтобы не тратить время на поиски своих тапок — они вечно терялись, — я сунул ноги в тапочки жены и засеменял на кухню.

Оказавшись в коридоре, вдруг остановился и замер. Сознание охватила навязчивая, липкая мысль, как в детстве: «Не смотри в глазок, не смотри в глазок, не смотри в глазок!» Я начал медленно подходить к входной двери, пятки вновь неприятно елозили по полу, в голове пульсировала кровь, где-то у крестца появилось неприятное тянущее ощущение. Спустя мгновение прильнул щекой к двери, прищурился и посмотрел в глазок. В подъезде примерно в метре от нашей двери неподвижно стояла одинокая фигура, как статуя или манекен. Одета в черное длинное пальто и красный берет, лица я не разглядел.

Как ни странно, я не испытал ужаса. Он снежным комом нарастал по мере приближения к двери, но мгновенно растаял, как только я увидел фигуру в подъезде.

Спокойно и медленно, чтобы не спугнуть незнакомку, открыл дверь.

— Здравствуйте, — сказал я фигуре.

— Доброй ночи, — ответила фигура поставленным оперным голосом, который я сразу узнал.

Сначала женщина не двигалась и стояла ко мне боком, но потом медленно повернулась и внимательно посмотрела на меня. У нее были вытянутое, болезненно-бледное лицо и глубоко посаженные глаза. Очень печальные, словно с бельмом концентрированного горя. Из-под красного берета, слегка поношенного, в мелких катышках, на плечи падали тонкие светлые волосы, безжизненные волосы, как у утопленницы. Странная женщина, на вид — около сорока лет, высокая и худая. В принципе она могла бы быть даже красивой, если бы не эта странная вытянутость, делавшая голову незнакомки похожей на запятую. Впрочем, облик женщины не отталкивал, а вызывал какое-то неясное сочувствие, казалось, что женщина очень несчастна и на ее фоне любые наши горести и проблемы кажутся пустыми и несущественными.

— Вы кого-то ждете?— спросил я как можно более вежливо. Я испугался, что она ответит «вас».

— Нет, я иду домой, — сказала женщина ровным, безэмоциональным голосом. В нем было нечто наигнанное, так могла говорить карнавальная маска.

— Это вы кричали все это время? — я решил спросить в лоб.

— Да, это я кричала, — таким же пустым, нулевым голосом проговорила женщина. Я ждал, что она что-то добавит, но она молчала.

— А почему вы кричали?

— Мне было плохо.

— Плохо... Знаете, а приходите к нам в гости! — Я позабыл свою злость, раздражение и страх. Мне вдруг очень захотелось помочь этой несчастной разрушить кирпичную кладку, о которой говорил Михаил Юрьевич, протянуть руку. — Приходите! Да хоть завтра вечером. Чаю попьем, моя жена приготовит пирог. А еще, знаете, наши соседи сверху, там мальчик Виталик и его мама, тоже придут. Посидим.

— Хорошо, я приду, — все так же безэмоционально ответила женщина и стала медленно подниматься по ступенькам, хотя у нас имелся старый, еще довоенный лифт. — Спасибо.

— Пойдите, а на каком этаже вы живете?

— На седьмом, — ответила незнакомка, когда ее фигура уже скрылась из виду.

Я вернулся в постель и долго не мог заснуть. «Она не придет, ведь в нашем доме нет седьмого этажа», — с этой мыслью я провалился в сон. Мне снились лестницы, которые никуда не ведут.

ВАГОН-РЕСТОРАН

Бывший чиновник областной администрации, тридцатишестилетний Иван Ожогов ехал в поезде Москва—Коротчаево и мелко дрожал. Дрожали пальцы с темными траурными лентами под ногтями, дрожали ноги в стоптанных башмаках, дрожала лохматая голова с плешью на темечке, даже лицо — припухшее, в мелких оспинах, подозрительно загорелое и как бы чуть-чуть подкопченное — немного подергивалось.

Страшная, черная дурнота, скопившаяся за несколько месяцев беспробудного пьянства, заполнила все естество пассажира. Ивану казалось, будто кто-то вывернул его наизнанку и выстирал в грязной, вонючей луже, а потом бросил гнить в кучу рваных бушлатов и матрасов, пропитанных потом. Грустный, побитый молью человек колыбался в вагоне, как последний осиновый лист, и без особого энтузиазма цеплялся за тонкую ветку, чтобы не слететь в грязь.

— Водичку будете? — с участием спросил у Ивана крепкий мужичок-живчик в тренировочном костюме. Дядька из тех коренастых, словоохотливых пассажиров, которые берут с собой в поезда не плебейские сланцы, а интеллигентные тапочки.

— Нет, спасибо, — буркнул Иван, не глядя на соседа.

Ожогов тихо сидел на нижней полке и смотрел в окно, стараясь даже в отражении стекла не встречаться взглядом с попутчиками, особенно с живчиком-доброхотом.

Самое страшное проклятие горьких пьяниц, страдающих с похмелья, — это мучительное чувство вины, которое распирает человека и отравляет его, словно свалочный газ. Как правило, абстинентный горемыка прекрасно понимает, что до него никому нет дела, во всяком случае по-настоящему. Любой не до конца разложившийся алкоголик точно знает, что большинство людей интересуются только своей персоной. Это хорошо известно, а все же стыдно и до слез жалко себя.

Попутчики, соседи, коллеги по работе и немного сонные, задумчивые кассирши либо просто по привычке цокают языками, глядя на опухшие, помятые лица, либо про-

являют наигранное участие, но не чтобы помочь — как тут сможешь, — а ради вздохов и охов. Крепко пьющий, похмельный человек до смерти боится этих понимающих, осуждающих, добрых или злых вздохов и старается спрятаться от них под землю, забиться кротом в сырую нору и там сидеть, притаившись.

Каждый раз, погружаясь в такое состояние — всецелого и практически тоталитарного смирения, — Ожогов глубоко осознавал свое ничтожество и из раза в раз оказывался у одного и того же перекрестка с тремя дорогами. Дорога направо предполагала признание собственного бессилия, за которым маячило непростое восхождение к исцелению, дорога налево вела в петлю, а прямая дорога на деле оказывалась кривой, делала круг и приводила Ивана к бесконечному повторению осточертевшего цикла: возлиания, судорожное пробуждение на рассвете, смиренная дрожь и уже хорошо знакомый перекресток. Ожогов всегда предпочитал прямую дорогу, разве что однажды, через несколько дней после увольнения со службы, чуть было не свернул налево — в открытое окно двенадцатого этажа, где он после развода с женой снимал квартиру-студию.

«Худо мне», — пробормотал Иван, смутно припоминая, как пьяным завалился в вагон, потом ссорился с проводником, долго искал паспорт и, кажется, упал, пытаясь забраться на верхнюю боковушку. Ушибленные ребра и шея ныли.

А поезд тем временем резво бежал на север сквозь снежное поле, тайгу, перелески. Ивану было больно смотреть на обжигающе-белый снег, но он не отводил взгляда от запотевшего из-за перегара окна и представлял, как он, такой же белый, чистый и маленький, лежит на свежей простыне в красных маках, над ним — добрая улыбка матери, а впереди — жизнь.

— Ресторан тут не подскажете где? — все так же не оборачиваясь, спросил Иван.

— О-о-о, — протянул живчик, — мы в первом вагоне, а ресторан то ли в тринадцатом, то ли в пятнадцатом.

— Благодарю, — сказал Иван и с ужасом полез в задний карман брюк. Бумажник оказался на месте. В нем лежал расчет. Месяц назад Ивана за прогулы и перманентное похмелье, мешающее работе, выгнали из департамента природных ресурсов региона, где тот трудился каким-то крошечным, малопонятным чиновником.

Если он не «болел», то капал в красные, воспаленные глаза визин, пешком приходил на работу, садился за компьютер и, открыв первый попавшийся документ, симулировал деятельность. Файл закрывался и открывался, курсор вошью скакал по строчкам. Однажды, когда мимо проходил начальник, Иван принялся колотить руками по клавиатуре, как делают маленькие дети. Это заметили и пожалы плечами.

На рабочем месте Ожогова неизменно стояла бутылка минералки без газа, смешанная с целым бутылком корвалола — фенобарбитал, входящий в состав препарата, немного снимал тремор, а спирт облегчал страдания. «Сердце больное», — объяснял Иван резкий запах лекарства.

Коллеги охали и кивали, хотя, конечно, догадываясь, в чем причина «сердечных хворей» Ожогова. В обеденный перерыв он поднимался со стула и рысью бежал в магазин «Дубок», где его хорошо знали. Как правило, столоничальник из департамента покупал двухсотпятидесятиграммовую бутылочку водки, пластиковый стаканчик и полтора литра тархуна, иногда в ход шел сладкий коктейль вроде джина-тоника, его проще пить, если сильно тошнит.

Иван любил выпивать на лавочках под старыми тополями. Когда-то на него произвела сильное впечатление трагедия во дворе: массивная ветка древнего тополя, помнящего войну, обломилась под порывами ветра и насмерть прибила бабулю, сидевшую на скамейке. С тех пор Ваня предпочитал пить под тополями.

По прикидкам, денег должно было хватить еще на неделю-две относительно умеренного пьянства. А дальше — ад абстиненции, которую бывший чиновник планировал перенести у старшего брата-главврача в ямальском поселке Тарко-Сале.

Ожогов аккуратно, почему-то на цыпочках, встал, судорожно накинул пуховик и, дрожа, засеменял в конец вагона.

— Пойдите, вы в ресторан? — внезапно раздался голос живчика.

— Да, — Ожогов вздрогнул, слова соседа почти до физической боли ошпарили его спину, несмотря на пуховик — голую, без кожи, с обнаженными нервами.

— Вам в другую сторону, — весело сказал доброхот.

— А-а-а, спасибо, — ответил Иван, развернулся и быстро зашагал прочь.

Ожогов, обливаясь холодным потом, шел против движения поезда. Прокуренный холод тамбуров сменялся духотой вагонов, насквозь пропахших носками, жареной курицей и «Дошираком». Иногда Ивана тошнило, тогда он останавливался между вагонами, какое-то время балансировал на качающихся железных платформах, а потом сворачивался в три погибели. Глухой, бесплодный кашель предвосхищал рвоту, но рвота не начиналась: нутро было пустым, как у потрошенной рыбы, желудок распирало только от концентрированной дурноты, позывы получались отрывистыми и холостыми.

Иван набирал в легкие побольше воздуха и продолжал упорно шагать в ресторан, казавшийся избавлением — чудесной страной, где текут молочные реки, нет горя, холода, чувства вины, похмелья и безнадежности.

Ожогов открывал дверь за дверью, уворачивался от пяток, кряхтел и даже скрипел зубами: тамбур, сцепка, вагон, тамбур, сцепка, вагон. Его бросало то в жар, то в холод, рубашка неприятно пристала к спине. Иван чувствовал себя липким и отвратительным — клейкой ловушкой для мух, только вместо насекомых на него налипали запахи грязных плацкартов.

В районе десятого вагона с Ожоговым случилось то, что называется «панической атакой». Мужчина вдруг явственно ощутил, что уже умер, попал в ад и теперь обречен вечно идти по этому нескончаемому поезду — из ледяного ужаса тамбуров в душный плацкартный чад — день за днем, год за годом, всегда. Ему стало страшно, сердце бешено колотилось, дыхание перехватило, Иван присел, прислонившись к двери в тамбуре, и медленно, стараясь унять дрожь, положил руки на колени, глядя перед собой.

— Ты как, браток? — спросил худощавый парнишка с наколками на пальцах. Он стоял напротив Ивана и вальяжно курил прямо под табличкой «Курение запрещено».

Иван молчал.

— Курить будешь? — поинтересовался парень, протягивая Ожогову пачку «Бонда». — Не обращай внимания на табличку, все на мази, я договорился с проводником.

Иван издал гулкий, утробный звук, как кит.

— Хреново тебе, я погляжу. Травишься? — попутчик с усмешкой, без сочувствия смотрел на Ивана, которому от его колючего, пронзительного взгляда вдруг стало немного легче, сердце успокоилось, дрожь улеглась.

— Не, я по синему делу, — признался Иван и тяжело встал.

— В ресторан подлечиться идешь?

— Ага, — сказал Ожогов и, вздохнув, открыл дверь тамбура.

— Смотри не помри там, — крикнул вслед парень.

— И поделом... мне, — пробормотал Иван.

Следующий вагон занимали вахтовики — печальные, сосредоточенные, трезвые. Они лениво разгадывали сканворды и лугали семечки, те, кто помоложе, лежали на верхних полках и ковырялись в телефонах. Вахтовики обязательно поставят этот вагон на уши, но позже, когда будут возвращаться обратно — при деньгах.

Ваня вспомнил, как лет пять или шесть назад, он этим же поездом ехал от брата после детокса, и один из пьяных вахтовиков-пассажиров с грохотом упал с верхней полки и в кровь расшиб голову. К вечеру у него началась белая горячка — мужчина разделся догола, бегал взад-вперед и орал до боли в ушах. В тщедушном, худом теле уже немолодого татарина нашлось так много силы, что его пришлось успокаивать трем здоровым мужикам, которые связали его полотенцами, чтобы на станции в Екатеринбург передать санитарам.

Ваня постарался собрать волю в кулак, чтобы как можно быстрее пройти дистанцию с вахтовиками, одним длинным, лихим прыжком. Но не получилось: сначала он ударился головой о чьи-то сонные ноги, потом посторонился, пропуская человека с заваренным «Дошираком», минуту ждал, пока мужичок-коротышка достанет с третьей полки клетчатый баул и даст ему дорогу. Время то подрагивало, то застывало. Ваня чувствовал, будто часы и минуты превратились в густой кисель, который медленно течет в его жилах.

В очередном тамбуре он внезапно уловил новые запахи: подгоревшего масла, жареного фарша, кислого, как бы пролитого на пол шампанского. Так мог пахнуть чей-то безыскусный, унылый праздник, вроде тех, которые шумно грохочут, но стираются из памяти без остатка.

«Ресторан», — подумал Иван и на мгновение замер в предвкушении искупления, руки задрожали сильнее.

За дверью был узкий проход, а после него — зал, украшенный по-новогоднему. Ожогов подумал, что разноцветную мишуру и «дождик» не снимают даже летом. По всей длине трактира белели скатертями два ряда столов, на каждом из них, кроме салфеток, солонки и перечницы, стояли небольшие графины с мутноватым уксусом, которые Ваня сперва принял за посуду с водкой. В горле Ожогова пересохло, выделилась слюна, он сел за столик и жестом позвал сотрудницу — полную женщину в синем переднике.

— М-м-можно мне меню? — Иван с досадой обратил внимание, что стал заикаться. «Так и до эпилепсии недалеко, — мелькнуло в голове Ожогова, — надо срочно выпить».

— А меню нет, — зевнув, сказала официантка.

— П-п-пива, пожалуйста. Е-е-есть крепкое? «Охота» или «Балтика-9»?

— Нет, — спокойно ответила официантка.

Иван испугался, по его лбу скатились две крупные капли пота.

— А водка?

— Водки тоже нет, — официантка в своем халате напоминала галлюцинацию.

— А что есть? — с надеждой спросил Иван.

— Из спиртного ничего нет, — равнодушно сказала женщина, потом немного мягче добавила: — Потерпите до Тюмени, там на вокзале купите.

— А с-с-с-скоро Тюмень?

— Часов шесть еще.

Иван почувствовал, что реальность вдруг задрожала в унисон с его пальцами. На злость не хватало сил, он хотел закричать, взорваться, выпустить из себя весь свалочный газ, скопившийся за последние годы, но вместо этого лишь понуро опустил голову и устался в окно.

— Чаю давайте вам принесу, попейте горяченького, — внезапно сказала женщина.

— Давайте, — без особого желания, машинально пробормотал Ожогов.

Через несколько минут официантка принесла чай, два стакана в фирменных мельхиоровых подстаканниках, села напротив Ивана.

— Вот возьмите, — администратор вагона-ресторана пододвинула стакан к Ивану, другой оставила в руке и театрально подула на выступающий пар.

Ожогову было тошно от самого себя. Он стыдился поднимать глаза на любого живого человека, кем бы тот ни был, но почему-то в присутствии этой женщины Ваня потихоньку оттаял и перестал заикаться.

— Сколько с меня? — спросил Ожогов, все еще не в силах поднять глаза.

— Да нисколько, так посидим, чаю попьем, все равно в ресторане нет ничего, никто не приходит, скучно, — с улыбкой ответила женщина.

Бывший чиновник все-таки украдкой глянул на свою спутницу. Это была простая русская женщина средних лет, с мечтательным, немного грубоватым, наспех выстриганным, но приятным лицом.

— Сейчас вообще на железной дороге скука смертная, — продолжила она. — Раньше помните, как было? Вот, предположим, где-то умирал фарфоровый завод — значит, люди встречали поезда с чайными сервизами, наверное, их выдавали вместо зарплат. Где-то отдавал концы завод по производству плюшевых игрушек, и перрон этого города был похож на магазин «Детский мир». Представляете, хмурые мужики с цигарками волокли к поездам этих гигантских плюшевых медведей и зайцев.

Дама засмеялась, чуть не поперхнулась чаем и поставила подстаканник на салфетку.

Иван представил грузных перронных дядек, которые с сигаретами в зубах пытались пропихнуть монструозных зверей в приоткрытые окна вагонов. Ожогов впервые за несколько дней улыбнулся, не будучи пьяным. Ему неожиданно захотелось продолжить беседу, руки еще дрожали, но он перестал стесняться и хлебнул из стакана, расплескав чай прямо на брюки.

— На Волге мы с родителями всегда брали копченую рыбу. А где-то все продавали мороженое, — рассказал Иван. Его соседка по столику кивнула и улыбнулась, у нее были добрые спокойные глаза, они без осуждения смотрели на Ожогова. Женщина не охала, не старалась проявить участия, просто сидела напротив и пила чай.

— Возле титанов с водой висят расписания, я их всегда изучал, — продолжил Иван. — Выписывал станции карандашом в тетрадку. Где посуду продавали, где рыбу, где хрусталь.

— Сейчас такого больше нет, не знаю даже, хорошо это или плохо, — сказала женщина. Она отвернулась от окна, подула и сделала большой глоток из стакана. — Вы пейте, пейте. Многие, знаете, говорят, что самый вкусный чай бывает только в поезде.

— Да-а-а, вкусный.

Иван летал где-то в прошлом, во временах, когда все только начиналось, и еще ничего не было потеряно. Вагон-ресторан, лишенный ликеро-водочного жала, оказался своеобразной барокамерой, попав в которую Ожогов вдруг почувствовал себя легко и спокойно. Женщина в синем переднике ничего не требовала, не бросала вызов, не жалела Ивана, а просто сидела и о чем-то с ним разговаривала. Тихо пели вагонные колеса, остывал чай, а мельхиоровый подстаканник, натертый до блеска, отражал солнечные лучи. Ивану казалось, будто его завернули в старую бабушкину шаль, и он вот-вот заснет.

— А еще по вагонам ходили цыгане с золотом и пуховыми платками, а также лжеглухонемые с безделушками и газетами «Мир криминала». Сейчас их линейная полиция разогнала, — зевая, сказала женщина, потом допила чай, встала и пошла за стойку. — Вы если еще чаю хотите, скажите, я принесу.

— Спасибо, — ответил Иван. Он закрыл глаза, окончательно перестал стесняться своих все еще дрожащих рук и коленей, расслабился и впервые за долгие годы решил изменить маршрут.

Ожогов стоял перед перекрестком с тремя дорогами, но в этот раз не стал идти прямо, а лег на живот — чтобы обмануть себя — и по-пластунски пополз направо, ему предстояло проползти через сотню тысяч плацкартов.